

Казакевич Эммануил

Приезд отца в гости к сыну

Эммануил Генрихович КАЗАКЕВИЧ

ПРИЕЗД ОТЦА В ГОСТИ К СЫНУ

Рассказ

Иван Ермолаев ждал в гости своего отца. В письме не было сказано, когда именно и с каким поездом отец приедет, и Иван волновался и досадовал на расхлябанную деревенскую манеру писать письма, где о выезде сообщалось двумя словами, а о самочувствии дальних родственников и соседей, почти забытых Иваном, - на четырех полных страницах из школьной тетради.

Двадцать восемь лет назад, пятнадцатилетним мальчиком, уехал Иван из деревни, вернее - был выгнан невзлюбившей пасынка молодой мачехой, совсем как в сказке. Дальнейшая жизнь его тоже оказалась некоторым образом похожей на сказку, непростую и трудную в каждодневье, но полную увлекательных событий и чудесных превращений, если оглянуться назад и охватить взглядом всю картину.

Маленьким мужичком с льяными волосами, в лаптях и посконной рубахе пришел он в областной город Пензу, а оттуда завербовался на новостройку в Магнитогорск, город, о котором говорилось так, словно он есть, хотя его еще не было. Чернорабочий, фабзаяц, плотник, бетонщик, Иван в числе десятков тысяч других строил своими руками завод, а завод, в свою очередь, тесал и плавил его самого, незаметно тесал и плавил его по своему образу и подобию. Так тихий и безответный крестьянский мальчик превратился в знаменитость, чье имя упоминалось при всяком перечислении виднейших доменщиков страны с такой же неизбежностью, с какой, например, Лермонтов упоминается при каждом перечислении наиболее выдающихся русских поэтов; всегда голодный вороненок, полный совершенно превратных представлений о мире и потливого страха перед старшими, перевоплотился в спокойного, уверенного в себе человека, отца большой семьи, книгочеля и любителя писать статейки в газету; безропотный житель самых холодных углов строительных бараков стал владельцем четырехкомнатного дома с садом в новом городе на правом берегу Урала, депутатом горсовета, членом разных комиссий - словом, одним из тех, которые могли бы называться почетными гражданами Магнитогорска.

Естественно, что Иван любил Магнитогорск затаенной, но сильной любовью. Город был для него не просто местом проживания, как старые города для своих жителей, - один не мог бы существовать без другого: если бы не город, Иван не стал бы Иваном, если бы не Иван, город не стал бы городом. Отцовская и сыновья любовь одновременно - редчайшее чувство; такое чувство питал Иван к Магнитогорску.

Домой он не писал - не так от обиды, как от тягостного и ясного понимания равнодушия к нему домашних. Он только время от времени посылал им то пятьдесят, то сто рублей, а когда встал твердой ногой у доменной печи в качестве третьего, затем второго и, наконец, старшего горнового, начал посылать по двести рублей ежемесячно. В ответ он иногда получал короткую писульку о том, что деньги получены, с присовокуплением обычных поклонов от разных дядьев и кумовьев. Жена Ивана, Любовь Игнатьевна, расставалась с этими деньгами

без особой охоты: каждый раз к концу месяца ей казалось, что не хватает именно этих двухсот рублей. Но, попытавшись однажды задержать отсылку денег, она получила от обычно покладистого и спокойного Ивана такую яростную и оскорбительную острастку, что с тех пор исполняла эту обязанность с примерной аккуратностью.

Дело в том, что в Иване все эти годы жила тихая, не очень сильная, но сосущая боль при воспоминании о родной деревне. Боль эта по прошествии лет слабела, а в последнее время давала знать о себе все реже; при получении же известия о приезде отца она возобновилась с новой силой, лишь постепенно видоизменяясь в свою противоположность - в сдержанное ликование человека, вновь обретающего нечто утраченное и все еще дорогое.

Эту неделю Иван работал с восьми утра и поэтому мог успевать к московскому поезду, приходившему на рассвете. В фиолетовом полумраке выводил он свою "победу" из сарая и ехал на станцию.

По мере того как одинокая "победа" неторопливо, там и сям разбрызгивая темные весенние лужи, приближалась к реке, утренняя заря все больше завладевала небом - заря не городская, а скорее вольная, широкая, степная заря, еще не разглядевшая, что внизу под ней не степь, а город. И дома и улицы здесь, несмотря на свою многочисленность и благоустроенность, еще не прижились на своих местах: каждому дому и каждой улице вроде бы казалось, что они на краю, что сразу за ними - конец городу, пустынное пространство; так оно и было совсем недавно.

Вокруг светлело, и фиолетовый полумрак пропадал куда-то, испарялся. И это походило на не слишком стремительное поднятие огромного легкого фиолетового занавеса, за которым обнаруживалась мягко освещенная теплым желтым светом огромная, пока еще пустынная сцена, где вскорости произойдут важные события.

И вот, наконец, самое важное событие происходит: когда машина подъезжает к реке, взору Ивана открывается завод на том берегу. Кажется, что это - огромное клокочущее вулканическое пространство, наспех прикрытое каменными стенами, железными крышами и толстым стеклом, затычками из огнеупора и огнестойкого металла, с отводами в виде многочисленных труб, сквозь которые вулкан имеет возможность хоть частично выдохнуть излишки своей ярости; из этих труб рвутся пламя и дым разнообразнейших цветов и оттенков; вот с откоса низвергается раскаленный шлак, и огненная струя его, стекающая вниз, принимает очертания человека с раскинутыми руками.

По сравнению с могучим, еле сдерживаемым полыханьем заводского вулкана мощные электрические лампы в окнах, у проходных, на столбах кажутся блеклыми и мертвыми, как светляки в сравнении с лесным пожаром.

Иван улыбался восхищенно. Он не переставал восторгаться своим заводом, на котором работал уже четверть века, как дети стрелочников не устают махать руками поездам, которые проходят мимо них каждый божий день.

Вдоль заводской стены, а потом по улицам старого города на левобережье Иван ехал к вокзалу. Перед вокзалом он выключал мотор, запирали машину, а сам шел к выходу на перрон и здесь долго, до конца разъезда всех пассажиров, стоял, вглядываясь в каждого из приезжавших, даже в молодых людей: ему трудно было представить себе отца после двадцативосьмилетнего перерыва, и он на всякий случай пылливо и не без замиранья сердца заглядывал под все шляпы, фуражки и кепки.

Отца все не было. Ивану в который раз приходилось садиться в машину и ехать обратно ни с чем. Однако напряженное ожидание, предвкушение, что вот-вот он увидит отца, не проходило бесследно. На обратном пути он неотступно думал о своем детстве в родной деревеньке. Снова ныла у него в сердце давно зарубцевавшаяся душевная рана маленького мальчика в

больших лаптях, медленно, но упорно выживаемого красивой и вздорной бабой из отцовского дома. Почти с прежним чувством отчаяния и тупого фатализма вспоминал он шумные вздохи отца в отсутствии жены и жалкое молчание в ее присутствии. Перед его туманящимися глазами возникали опять картины детства: большие мягкие губы отца, похожие на губы лошади, когда отец ел похлебку, молча слушая, как жена попрекает дочь, по-пустому вяжется к сыну, кричит ему: "Дурак! Иванушка-дурачок!" - гремит ухватами, пышет жаром; он вспоминал, как просыпался на рассвете от шума и вздохов на полатях, и видел в полутьме жирные, белые, как сметана, ноги мачехи и худые, одеревенело вздрагивающие ноги отца, и понимая, что вот из-за всего этого мачеха забрала власть в доме, тоскливо думал о том, как все это, в сущности, непонятно и страшно. Он видел, будто наяву, опостылевшую, но любимую до слез низкую избу на краю деревеньки у самой речки Вороны, и душа его, вся во власти воспоминаний, снова как бы испытывала любовь к этой избе, к этой деревеньке - собственно, даже не любовь, а чувство глубочайшей уверенности, что только в этом закуте может жить на свете Иван Ермолаев.

Но вот он переезжал по мосту в новый город, уже оживленный, полный солнца и людей. Он неторопливо ехал по широким улицам, окаймленным большими домами, по площадям, где все производило впечатление новизны и простора, где, в отличие от старого города на другом берегу, не чувствовалось близости заводских дымов, утренний воздух был чист и свеж, а молодая завязь на деревьях - ярко-зелена. Наконец он подъезжал к своему дому и заводил машину в сарай. Здесь воспоминания оставляли его. Он бесшумно отпирал дверь, ставил чайник на плитку, переодевался в рабочую одежду. В доме все еще спали, только кошка лениво терлась о ножку стола. Но вскоре, заслышав шорох в столовой, из спальни выходила в халате и шлепанцах румяная, заспанная Любовь Игнатьевна. Ее шаги негулко и домовито раздавались то тут, то там. Шумы в доме становились все сложнее и разнообразнее: хлопанье дверей, мелкие шажки тещи Дарьи Алексеевны, бормотание вскипающего чайника, стук высоких каблучков старшей дочери Марины, студентки горно-металлургического института, громкие и веселые зевки сына Пети, ученика девятого класса, потом его же свист, наконец, шевеление в крайней комнате слева, пронзительный возглас: "Мама!" шлепанье босых ног, бульканье струйки в горшочек - это просыпались трое младших.

Пока Иван пил чай, мимо него медленно проходил или быстро проносился то один, то другой член семьи, но Иван, как обычно в эти утренние часы, не обращал на них никакого внимания, полностью игнорируя их существование. А они, в свою очередь, тоже словно не замечали его, так было установлено издавна. Он уже был как бы не здесь, а на заводе, у доменной печи, уже начинал приобщаться к таинству металла и огня, и окружавшие понимали это и, не переставая, разумеется, делать свои обыденные дела, уважительно молчали и двигались как можно бесшумнее, едва только попадали в его поле зрения.

Неделю Иван ездил на станцию встречать своего старика, но так и не встретил его. А появился отец совершенно неожиданно и буднично, и не рано утром, а этак часов в десять. Просто постучал в дверь и открыл ее невысокий старик с небольшой серой бороденкой, с небольшим узелком в руке. Вошел, спросил, здесь ли живет Иван Ермолаев, а узнав, что здесь, сел на стул и начал оглядывать комнату, как мастер-обойщик или маляр осматривает стены, чтобы прикинуть объем будущей работы. Дарье Алексеевне даже и в голову не пришло, что это и есть долгожданный гость, она сказала ему, что хозяйка скоро придет, и продолжала делать свои дела.

Радиоприемник разговаривал бодрим голосом - голосом "специально для детей". Дети, впрочем, были во дворе. Любовь Игнатьевна ушла в магазин. Петя - в школу. Марина собиралась в институт - ее у калитки поджидал сын сталевара Пименова, студент-однокурсник, а возможно, что и жених. Сам же Иван, недавно вернувшийся с ночной смены, отсыпался, и его ровный храп возникал из спальни в те мгновения, когда поддельно бодрый голосок из радиоприемника делал паузу.

Дарья Алексеевна, маленькая старушка в очках, справила, наконец, все утренние домашние дела и села на диван с книгой: она была отчаянной читательницей. Она читала громким шепотом, почти вслух. Подняв через некоторое время глаза, она увидела старичка на прежнем месте и подумала о том, что Любе следовало бы уже быть дома, раз она пригласила мастера по поводу ремонта крыши. Узелок старика Дарья Алексеевна приняла за сумку с инструментом.

Как это не раз случалось в истории, все дела распутал ребенок. Шестилетний Федя Ермолаев, вернувшись со двора за каким-то нужным ему предметом, увидел старичка, который дремал на стуле, и спросил с детской прямоотой:

- Дедушка, ты чего тут сидишь?

Старик пожевал мягкими губами, почесал серую бородку, внимательно посмотрел на ребенка и, неприязненно покосившись на шепчущую старушку в очках, ответил:

- В гости к вам приехал, милоч, в гости... Ты бы мне свово папаню разыскал...

Федя кивнул лобастой головой, но так как "папаня" спал, а будить его не полагалось, мальчик направился к выходной двери; однако сочетание слов "дедушка" и "в гости" показалось Феде весьма значительным, так как оно произносилось в доме за последние дни бесчисленное множество раз. Поэтому он на всякий случай подошел к бабушке, мотнул головой в сторону старика, сказал:

- Дедушка в гости приехал.

И тогда только убежал во двор.

Слова эти не сразу дошли до старушки, а когда дошли, она растерянно посмотрела на дверь, куда исчез мальчик, потом на старичка, вроде бы задремавшего, уронила книгу на диван и кинулась к старику:

- Господи! Вы не... не Тимофей ли Васильевич?

Поднялась суета. Со двора прибежали дети вместе с соседской детворой. Митя побежал за мамой в магазин, Федя кинулся к уходившей Марине и вернул ее, к немалому огорчению Вити Пименова. Растолкали Ивана.

Иван выбежал в столовую босиком, крепко прижал отца к груди, снял с него серую ватную кацавейку, стянул с него сапоги и дал свои мягкие домашние туфли, помог теще быстрее накрыть на стол и растроганно смотрел, как старик жует мягкими губами и улыбается чуть сконфуженно.

Тимофей Васильевич почти не изменился, только волосы и борода у него посерели, и весь он посерел, потеряв тот кирпичный цвет лица и шеи, который так хорошо запомнился Ивану с детства. Помимо того, он стал поблагодарнее, потерял суетливость, свойственную ему в стародавние времена.

Сына он, разумеется, не узнал; он с интересом посматривал на него, пытаясь уловить черты сходства с мальчиком Ваней и, не находя таких черт, бормотал неопределенно:

- Ну, вот и встретились, и слава богу.

Иван опасался, что отец будет вспоминать старое, извиняться, каяться, но старик не проронил о прошлом ни слова, степенно передал поклон от своей жены и детей от второго брака, а также от Ваниной сестры, которая охромела еще в отрочестве, так и не вышла замуж и по-прежнему жила при отце. На вопрос Ивана, что нового в деревне, Тимофей Васильевич

ответил, что в деревне ничего не изменилось, все по-прежнему. Иван засмеялся:

- Ну, как не изменилось? Там же колхоз теперь?

Старик ответил равнодушно:

- А? Ну да колхоз... А ты разве до колхоза уехал? Верно, до колхоза...

- А ты кем в колхозе работаешь? - спросил Иван.

Старик сказал хмуро:

- Я? Чего я там не видел...

- А как же? - удивился Иван.

- А так, живем потихоньку, - ответил Тимофей Васильевич уклончиво, однако тут же, искоса взглянув на Ивана, добавил торопливо. - Ну, и хвалиться особенно нечем...

В это время вернулась запыхавшаяся Любовь Игнатьевна. Знакомясь с ней, старик одобрительно кивал: жена Ивана оказалась большой, рослой женщиной, краснощекой и голубоглазой. Старик уважал крупных женщин. Одобрил он также и квартиру Ивана; правда, войдя в ванную комнату, не понял ее назначение: оказалось, к удивлению детей, что он ванны никогда в жизни не видел. Впрочем, оценил он ее довольно быстро. Вымывшись и переодевшись в Иваново белье, он уселся на стул возле окна в столовой, чистенький, молчаливенький; на этом стуле сидел все время, между тем как члены семьи, радостно-возбужденные, вертелись вокруг него, точно спутники вокруг планеты.

Вскоре из кухни донеслись сложные и приятные запахи приготавливаемых парадных кушаний к вечернему празднеству в честь приезда Тимофея Васильевича. Младшие дети - Вера, Митя и Федя - не отходили от дедушки, смотрели на него молча, ожидая, что он их позовет и поговорит с ними. Но он не обращал на них внимания. Только когда впервые появился старший, девятиклассник Петя, старик внезапно заинтересовался и даже удивленно заерзал на стуле: уж очень тот был похож на мальчика Ваню, только без лаптей и вместо домотканой рубахи - в клетчатом пиджачке с галстуком и узкими брючками.

Пока все это делалось дома, Иван уехал на завод приглашать в гости друзей, работавших в дневной смене. Потом он побывал на квартире у тех своих приятелей, которые сегодня работали ночью. И, наконец, вернулся домой, превеселый и предовольный, с целым ящиком водки, шампанского на заднем сиденье машины.

Гостей собрался полон дом. Тут были мастера доменных печей, в большинстве своем пожилые, среди них прославленный Ульянов с красивой вертихвосткой-женой и еще более знаменитый Гончаренко, уже пенсионер, усатый, как запорожец, - один из последних сотрудников Свицына, помнивший еще самого Курако по Краматорскому заводу. С ним вместе пришли старуха жена, седая, важная как профессорша, и сын полковник с молодой женой, приехавшие в отпуск. Были тут горновые с Ивановой печи с женами, люди молодые и скромные, восходящее светило доменного производства инженер Коломейцев и его жена - нарсудья Лидия Ивановна Коломейцева, инструктор горкома партии - бывший доменщик Леня Башмаков и сталевар Пименов с женой и сыном.

К Марине в это время пришли две ее подруги, чтобы совместно готовиться к зачету, но ввиду такой оказии их тоже усадили за стол, и они сидели втроем в уголке, разумом своим порываясь в другую комнату, к учебникам и тетрадям, а суетными пятью чувствами стремясь остаться здесь, за роскошным столом, под одобрительными взглядами мужчин и кислыми тридцатилетних женщин, в хмельной атмосфере начинающегося веселья. К Марине подсел

Витя Пименов; он не ел и не пил, только глядел на нее неотрывно, будто впервые ее видел.

Стол был красивый и богатый. Тут располагались разные колбасы, холодцы, всевозможные консервы в жестяных банках, однако стоявших на фарфоровых тарелочках, холодные голубоватые магазинные куры, селедка, заливная рыба и уже мятые - шел май месяц - еще вкусные кислые огурцы и моченые яблоки.

Однако венцом всех яств были пельмени - знаменитые на всю Россию, не те, худосочные из магазина, в скучных картонных коробках, а самодельные уральские, из изысканной смеси говядины, баранины и свинины, четырех разных сортов - большие, как пироги и маленькие, как детские ушки, такие, где все дело - в тесте, где оно воздушное, пахучее и тает во рту, а мясо служит как бы только приправой, а иные, где вся прелесть - в мясе, в правильности его пропорций, в его сочности неизъяснимой (держи рот, не то оттуда брызнет!) - а тесто только так, футлярчик, пленка для содержимого.

Дарья Алексеевна, Любовь Игнатьевна и Марина, разгоряченные, румяные, серьезные, очень похожие друг на друга, но очень разные (сами вроде как пельмени различных сортов), стали подавать пельмени с пылу с жару, миска за миской; и как только миски пустели - а это происходило быстро, - тут же несли новые миски и не садились, пока самые ненасытные гости не отвалились на спинки стульев в блаженном изнеможении.

подавая, Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна уделяли особое внимание Тимофею Васильевичу; они шептали ему - то одна, то другая - в большое седое ухо о достоинствах тех или иных пельменей и наперебой придвигали к нему перец, сметану, кету, топленое масло и уксус в большом фужере.

За здоровье приезжего гостя пили бесконечно. Тосты за него произнесли старик Гончаренко, Коломейцев, Башмаков, Ульянов и младший Гончаренко, полковник. Этот приветствовал его чуть ли не от лица всех вооруженных сил, что, впрочем, рассмешило одного только Леню Башмакова: докладчик и лектор, он хорошо знал цену всяким преувеличениям.

Старик Гончаренко благодарил Тимофея Васильевича за сына, "который является - как старик сказал по-старомодному - украшением отечественной металлургии". Горновы решили покачать отца своего "старшого", и он в их сильных руках легонько подсакивал под самую люстру, глядя на многочисленные стеклянные подвески не без опасений.

После ужина стол задвинули в угол, а стулья расставили вдоль стен. У женщин разгорелись глаза. Заиграл патефон. Начались танцы. Только Дарья Алексеевна, проголодавшаяся, как волк, приткнулась к столу и села есть уже остывшие пельмени одновременно ухитряясь, невзирая на шум, заглядывать в книжку.

Комната была не очень большая, танцевали впритирку друг к другу, как в американском баре, но это не только не мешало никому, но еще больше веселило всех. Не обходилось без вольных шуточек танцующих с чужими женами по адресу нетанцующих мужей, а также встречных острот, обмена на ходу парами, флирта "понарошку" и взаправду. Царило свободное интимное, но не разгульное веселье, какое бывает в компаниях, все праздники проводящих вместе, где все друг к другу привыкли, каждый знает слабости другого лучше, чем свои собственные, все связаны многолетней дружбой и взаимной симпатией, не исключаяющей, правда, заочных маленьких сплетен и довольно злых подкалываний по поводу совершенных промахов. Постороннего, попавшего в эту среду, легко собьют с толку намеки на неизвестные ему события, собственные, только данному кругу принадлежащие словечки и прозвища, и некий условный, связанный с общим производством и совместным времяпрепровождением жаргон, который понятен только здесь и больше нигде на свете.

Танцевали долго и самозабвенно. Как обычно, тут главенствовала Любовь Игнатьевна. На ее лице было при этом написано особого рода равнодушие, которое составляет высший шик

среди магнитогорских замужних женщин; оно призвано свидетельствовать о чистоте их помышлений, о том, что для них главное в танце - вовсе не партнер, не мужчина, а танец сам по себе, что это вопрос чистого искусства, и только. Хотя Любовь Игнатьевна танцевала на первый взгляд неторопливо, сдержанно, даже незаинтересованно, но ее плавная иноходь была куда мощнее и опаснее, чем резвый галоп других танцорш, и действительно, она перетанцевала всех. Когда остальные уже без сил сидели, развалиясь на стульях и диванах, лишь она, да кокетливая Екатерина Степановна Ульянова, да приезжая - молодая жена полковника Гончаренко еще были на ногах. Потом приезжая повалилась в изнеможении на диван, прямо на руки своему мужу. Тут переменяли пластинку, гармоника заиграла "русского". Любовь Игнатьевна и Екатерина Степановна остановились, как вкопанные, их глаза сразу стали хитрыми-хитрыми, и они пустились в пляс.

Но мужчины никак еще не могли "соответствовать". Лишь изредка, подстегнутые особенно удалым перебором гармошки или уж очень лихим коленцем и настойчивым вызовом одной из двух неутомимых плясуний, кто-нибудь из мужчин прохаживался по комнате с перестуком каблучков или как будто в отчаянии кидался на полминуты вприсядку с таким напряженным лицом, словно прислушивался, не донесется ли ответного стука снизу, из подпола, или даже с противоположной стороны Земли; не получив ответа, он разочарованно и сконфуженно опять усаживался на диван, а вместо него выскакивал кто-нибудь другой.

Потом снова сменили пластинку, но Екатерина Степановна больше не могла, и лишь одна Любовь Игнатьевна гордая своей победой над соперницей, опять замерла, сделала томные глаза и пошла по кругу плавной походкой девушки из аула. За ней ненадолго бросался кто-нибудь из мужчин, зажав между зубов лезвие столового ножа, он шел за ней как привязанный, и лезгинка неожиданно вызывала общий смех, когда ее выплясывал озорной русак со вздернутым носом и скуластым слабобородым лицом.

Понемногу люди и вся комната в целом приобрели тот же вид, что и стол после ужина, когда все кушанья потеряли первоначальную пышность и благообразие: все салаты разрушены, все пирожки надкусаны, все тарелки перемазаны, все блюда перемешаны. Иными словами, началась та чересполосица разумных речей и полнейшей белиберды, громкого пенья и беспричинного смеха, та полупьяная добродушная несуразица, которая является высшей точкой каждой большой вечеринки.

В этих обстоятельствах одна только Дарья Алексеевна неизменно оставалась на посту. Она уложила спать малышей. Она тихонько выпроводила Марину и ее подруг в другую комнату заниматься (Витя Пименов ускользнул вслед за ними). Она начала уносить остатки ужина, чтобы сервировать чай, при этом не забыв - добрая русская душа! - оставить на столе недопитые бутылки.

Еще один человек, кроме Дарьи Алексеевны, был совсем трезв и ясен сам хозяин дома Иван Ермолаев.

Иван сегодня почти не пил, не был, как обычно, вдохновителем общего веселья, не плясал в паре с Любовью Игнатьевной "русского" и не следил с орлиной зоркостью за пустыми рюмками и тарелками друзей. Он был сегодня тихий и трезвый, молчаливо и ласково поглядывал на всех и в особенности на своих домашних. И вид у него был строже, чем всегда, в новом, еще ненадеванном черном костюме из отличной шерсти "с выработкой". Этот новый костюм, о котором толковалось давно, произвел впечатление на всех, особенно на модницу Екатерину Степановну: она обратила всеобщее внимание на то, как черное к лицу Ивану, светлому блондину, какой он в черном стройный и элегантен, и глядела на Ивана еще умильней, чем обычно. Понравился костюм и Тимофею Васильевичу, который, потрогав материю, причмокнул языком.

От отца Иван не отходил ни на шаг, иногда обнимал его одной рукой за плечи, обращал его

внимание на чью-либо шутку или смешной рассказ и, перед тем как смеяться шутке или смешному рассказу, глядел на отца вопросительно - понял ли тот, - и сам начинал смеяться не прежде, чем начинал улыбаться отец, ухватив соль остроты. Изредка Иван поднимался и, потрепав отца по плечу - ненадолго, мол, - уходил из столовой - просто так, от усталости трезвого среди выпивших. В соседней комнате Марина и ее подруги готовились к зачету. Витя Пименов, уже сдавший зачет раньше, сидел на подоконнике и смотрел на Марину, отрываясь от этого занятия только затем, чтобы объяснить непонятное место в учебнике: он был отличником и славился своими способностями; и казалось удивительно и трогательно, как он в одно мгновение, все с тем же очарованным видом переключается от любви к металловедению.

Рассеянно улыбаясь, покидал Иван эту комнату и входил в другую, где на широкой кровати спали все трое маленьких. Звуки вальсов и топанье ног почти не доносились сюда. Иван стоял и смотрел на детей, слабо освещенных светом маленького ночника, и давал себе слово, что никогда от них не уйдет, не бросит семью, не оставит их без отца; года четыре тому назад он увлекся одной докторшей из заводской поликлиники и некоторое время был близок к разрыву с семьей.

В очередной раз очутившись возле спящих детей, Иван почувствовал, что его охватила странная душевная слабость, приятная и причиняющая страдание.

Он постоял, пока это странное ощущение не улеглось, и вернулся в столовую. Здесь уже стало тише. Любители пения на время одолели любителей танцев. Судья, Лидия Ивановна Коломейцева, была главной певицей. Голос у нее был низкий, цыганский, и песни - ему под стать - озорные или надрывные. Озорные она пела серьезно, а надрывные - насмешливо, и, видимо, так было правильно. Все притихли, даже танцорши. Умная Лидия Ивановна, впрочем, недолго пела одна, вскоре завела общеизвестную хоровую, и все голоса радостно вступили, запела даже Дарья Алексеевна, только инженер Коломейцев чертил что-то старику Гончаренко на бумаге, шепотом советуясь со старым доменщиком по поводу некоего "рационализаторского предложения".

Потом гости сели пить чай с печеньем, лишь Ульянов и Башмаков, не желающие, как они выразились, "делать ерша", то есть мешать водку с чаем, продолжали пить водку. Екатерина Степановна, любезничая с полковником, сердито косилась на мужа, когда он наливал себе очередную рюмку, и ее живые карие глазки то мерцали мягким масляным блеском, то злобно посверкивали.

Тимофей Васильевич сидел в уголке, ко всем приглядывался, больше слушал, чем говорил, степенно поглаживая свою серенькую бороденку. Мастер Ульянов совсем подружился с отцом своего любимого старшего горнового и, будучи порядочно на взводе, иногда лез к нему целоваться, и звал в гости, и сентиментально вздыхал, вспоминая орловскую деревню, которую покинул ребенком, лет сорок назад.

Людей становилось меньше. Первыми - еще до полуночи - незаметно ушли горновые из Ивановой смены. Они и не пили почти, так как в двенадцать часов должны были заступать; Ивана же начальник цеха заменил другим старшим горновым в связи с семейным торжеством.

Остальные гости стали расходиться часов с двух ночи. В три все стало тихо. Пока Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна, зевая во весь рот, убирали посуду, подметали пол, стелили постели, старик, которому совсем не хотелось спать, стал расспрашивать сына про гостей (кто они, какие должности занимают, сколько жалованья получают), осторожно прохаживаясь насчет женского пристрастия к танцам "с кем попало", соображать, не лучше ли выдать Марину за второго сына Гончаренко (его на вечере не было, но старый доменщик похвалялся им перед Тимофеем Васильевичем), чем за этого ее женишка: отец у женишка больно



молчаливый, видно, скупой, да и дома своего не имеют, занимают квартиру в большом казенном доме.

Иван, посмеиваясь, отвечал на его вопросы и мягко отводил его соображения, в то же время тихо радуясь тому, что у него есть родной отец, смешно и мило озабоченный его делами. А старик смотрел на длинный стол, уже пустой, но еще покрытый большой розовой скатертью, вспоминал прошедший вечер и говорил задумчиво:

- Хорошо живешь...

Позже, когда все улеглись и уgomонились, Иван вышел на крыльцо и постоял, глядя, как обычно, в сторону завода, на зарево, пылавшее над ним. Ивану стало не по себе от того, что смена работает, а он находится здесь, на крыльце своего дома, - кажется, впервые за двадцать лет он не был вместе со своей бригадой. Он ревниво и пристально глядел в сторону домен, которые не были видны отсюда, но угадывались по алым, оранжевым и золотистым отсветам и дымам.

Он решил, что завтра обязательно покажет отцу завод, и попробовал представить себе, какое впечатление произведет завод на старика, привыкшего к тому пейзажу, который ясно помнился Ивану с детства: деревенские избы спускаются к самой реке, за рекой змеятся холмы, покрытые темной зеленью дремучего соснового бора. Направо уходит вдаль бесконечная равнина, на ней там и сям виднеются деревеньки, а слева тянется гора, у подошвы которой стоит большое село и ярко белеет приходская церковь Василия Великого; туда в старину ходили на богомолье к источнику святой воды.

Это воспоминание показалось таким далеким, эта картина так была не похожа на ту, которую Иван видел теперь перед собой в темноте весенней ночи, что Иван на мгновение почувствовал себя не одним человеком, а двумя - так трудно было соединить в одной биографии эти два разных мира. И то, что завтра его отец, Тимофей Васильевич Ермолаев, ни с того ни с сего окажется на Магнитогорском заводе, казалось тоже неправдоподобным.

Часов в двенадцать дня Иван не без некоторой торжественности усадил Тимофея Васильевича в машину рядом с собой и отправился с ним на завод. Сзади уселась Дарья Алексеевна - ей нужно было в библиотеку, книги менять на всю семью. Книги, аккуратно увязанные веревочкой, она положила к себе на колени. Иван высадил ее у библиотеки и поехал к заводууправлению.

Вдвоем с отцом они поднялись за пропуском. Служащие заводууправления почти все знали Ивана и называли Иваном Тимофеевичем. Здороваясь с ним, они в то же время с улыбкой косились на совершенно выпадающую из общей картины мешковатую фигуру старичка с серой бородкой, такую явно не деловую, не командировочную, не инженерную, не индустриальную; старичок щурил глаза и вертел головой во все стороны, рассматривая потолки и стены старательно, как будто по обязанности, но без интереса.

Кое-кто останавливался, спрашивал:

- Что, отец приехал?

А некоторые, знавшие Ивана ближе, подходили:

- Уже приехал?

И пожимали старику руку с несколько преувеличенным жаром.

Краснощекая девица в комнате, куда отец и сын зашли за пропуском, подняв глаза и увидев старика, сначала удивилась, но потом заметила стоявшего за ним Ивана, сразу вспомнила и

радушно закивала головой:

- Да, да... сейчас выпишу пропуск. Как вас величать? Тимофей?..

- Васильевич.

Старик сиял от удовольствия: может быть, он смутно думал о том, что вот они с сыном так давно живут врозь, а он, родитель, все равно как бы незримо пребывал вместе с Ваней - ведь звали же Ивана все эти незнакомые люди "Тимофеевичем", по батюшке.

Получив пропуск, они спустились по лестнице вниз, пошли к проходной и наконец очутились на земле завода. Впрочем, по земле отец и сын двигались недолго, вскоре дорога уткнулась в широкую железную лестницу, по которой они поднялись на расположенный высоко над землей виадук и пошли по нему. Внизу, довольно глубоко под ними, тянулись по всем направлениям рельсы, автомобильные пути, толстые и тонкие трубопроводы. Далеко в стороне высились стены огромных цехов, отовсюду свистел вырывавшийся из труб пар, то там, то сям из неприметных отверстий даже выбивалось пламя. Ровное пыхтение раздавалось кругом, непрерывное ровное пыхтение, покрываемое иногда гудками и тяжким постуком платформ с ковшами, в которых остывало уже лиловеющее огненное варево.

Наконец вдальеке, а потом все ближе, придвигаясь подобно грозному видению, перед ними предстала шеренга доменных печей. Иван остановился и показал их отцу, чтобы он издали оценил эти чудища. Они выглядели как гигантский многобашенный линейный корабль, а каждая в отдельности напоминала марсианина, но так как старику не с чем их было сравнивать - ни о марсианах, ни о линкорах он не имел понятия, - то он просто испугался.

- Печи! Вот это так печи! - оробев, забормотал Тимофей Васильевич.

Он и раньше слышал о доменных печах, но это слово вызывало в нем самые определенные сопоставления: он думал, что речь, в общем, идет о русской печи, где вместо каши варят железо. Точнее говоря, когда Ваня написал, что работает у доменных печей, Тимофей Васильевич сразу представил себе поле, а на нем, наподобие стогов, - ряды больших белых русских печей, с подпечьями и припечками, загнетками и дымоходами.

Спускаясь вслед за сыном по железной лестнице к доменному цеху, Тимофей Васильевич, как замороженный, смотрел на сплетение гигантских цилиндров, конусов и призм, составляющих причудливый корпус доменной печи, и все бормотал:

- Печь! Вот это так печь...

Внизу, под домной, где человек кажется себе особенно маленьким и жалким, они наткнулись на инженера Коломейцева, который, узнав их, просиял. Стараясь перекричать доносящийся со всех сторон непрерывный гул, он громко спросил:

- Еще не опохмелялись?

Эти более чем обыденные слова в такой необыкновенной обстановке несколько привели Тимофея Васильевича в чувство, и он заулыбался так же степенно и чуть покровительственно, как вчера при тостах в его честь.

Когда Коломейцев ушел, пригласив отца с сыном зайти к нему в контору, а вечером пожаловать в гости, Иван сказал о нем:

- Хороший инженер.

- А ты не инженер? - спросил Тимофей Васильевич.

Иван улыбнулся:

- Хотел, да силенок не хватило. Подготовки не было. Начал учиться заочно, но не вышло. Годы не те, голова не так ясно работает... Память неважная. В общем, бросил. Ну, ничего, ведь и рабочие нужны. Зато дочь моя скоро будет инженером.

Старик с сомнением покачал головой: "Рабочий?.. Смотри, как его везде встречают..."

На доменной печи, где работал Иван, отца старшего горнового тоже встретили очень дружелюбно. Черные от копоти горновые и газовщики подходили к нему, улыбались черномазыми лицами и упорно не подавали ему руки, так как не хотели измазать почтенного гостя.

В огромном помещении было темновато и прохладно. Желтый песочек мирно лежал на полу домны, как на берегу реки. Люди, однако, сновали туда и обратно, видимо, были чем-то очень заняты, но чем именно, старик не понимал. Появившийся откуда-то мастер Ульянов тоже был - не по-вчерашнему - серьезен и деловит. Он громко распорядился, кого-то грозно распекал, и трудно было представить его себе пьяным и слезливым, и боящимся своей заливчатой женки, и прощающим ей все. Тимофея Васильевича он, впрочем, встретил по-приятельски, увел его к себе в комнатку, где вокруг висели щиты с подрагивающими стрелками, потом дал ему синие очки и повел его к печи - смотреть сквозь небольшие глазки на запертое пламя, бушевавшее внутри нее.

Потом Ульянов внезапно исчез, и Тимофей Васильевич почувствовал себя одиноким и потерянным здесь, в этом странном корпусе, ни на что на свете не похожем. Но вот из полумрака появился Иван. Он взял отца за руку и повел, как ребенка, куда-то, поставил его в сторонке и тихо сказал:

- Смотри.

И тут началось. Открылась лётка, и раскаленный жидкий металл двинулся из печи. Все в домне мгновенно преобразилось. Стало нестерпимо жарко и нестерпимо светло. Тени запрыгали по далеким стенам как бешеные. Огонь, осветив ярчайшим светом все закоулки доменной печи, а заодно и соседнюю домну, соединенную с этой, как бы раздвинул их, показал их действительные размеры, более грандиозные, чем это представлялось раньше.

Раскаленный жидкий металл пустился по наклонной плоскости прямо по полу незнамо куда и мог бы все сжечь на своем пути, если бы не замеченные раньше ложбинки в желтом песочке. Раскаленные струи кинулись по этим ложбинкам вперед. Алое и золотистое пламя, похожее на адское и еще пострашнее, вдруг напомнило Тимофею Васильевичу их приходскую церковь Василия Великого, где во всю стену были изображены адовы муки. Но тут огонь был настоящий, бесы, то бишь горновые, метались с баграми в руках, пробегали, кидались с этими баграми прямо на огонь, пускали жидкий огонь то в одну, то в другую ложбинку и уже не замечали ни Ивана, ни его отца, словно это были для них незнакомые люди.

Тимофей Васильевич глядел на окружающее с суеверным ужасом, и только присутствие сына успокаивало его, хотя и сын во время плавки изменился, стал каким-то нездешним, смотрел на огонь и металл, как замороженный, забыв, кажется, обо всем на свете; золотистые отсветы прыгали по лицу Ивана, сверкали и играли в его глазах.

Словно угадав мысли отца, Иван обернулся к нему, посмотрел на него внимательно и сказал ласково:

- Не бойся, тятя.

Почему-то он именно здесь вспомнил слово "тятя", с детских лет совсем забытое, и оно

умилило его. Он повторил:

- Не бойся, тятя. Огонь - наш раб, рассчитан и расчерчен по графику.

Это, конечно, было верно, но когда Тимофей Васильевич очутился на высокой платформе, ведущей из домны на вольный свет, он не без опаски поглядел на небо: есть ли оно еще на своем месте. Оно было на своем месте, в нем неподвижно и необыкновенно высоко стояли перистые облака. Тимофей Васильевич украдкой перекрестился и вздохнул. Иван заметил его движение и улыбнулся. Естественное в старину и непривычное, почти забытое Иваном теперь, это движение тем не менее чем-то растрогало его, как и слово "тятя". И в то же время он испытывал удивление от того, что жизнь отца так мало изменилась - по крайней мере по внешности; казалось, что там все так же, как было тридцать лет назад, разве что вместо телег и бричек по дорогам ходят автомобили. Он подумал: "То ли район там такой отсталый, то ли сам отец крепко держится старины, а может, потому он и держится старины, что район отсталый..."

Долго раздумывать над этим не было ни охоты, ни времени; остаток дня и все последующие дни были заполнены до отказа хождением в гости, в кино, во Дворец металлургов. Мысли Ивана занимало одно: как бы получше принять старика, чем бы еще его потешить. В субботу и воскресенье - два подряд выходных дня Ивановой бригады - решили поехать за город на рыбалку.

К дому Ермолаевых в три часа пополудни съехались две "победы" и "москвичи". Иван вывел и свою "победу". Погрузили палатки, рыболовную снасть, кухонную утварь, рассовали по багажникам части разборной лодки и приготовленные заранее обрезки досок и реек. На эти доски и рейки Тимофей Васильевич смотрел с недоумением, пока ему не объяснили, что в степи топлива нет, поэтому приходится брать топливо для костра, на котором будет вариться уха. Тимофею Васильевичу, жителю лесных мест, это показалось необыкновенно смешным - ездить со своим топливом для костра, - и он впервые за все дни вслух рассмеялся, и все увидели, что сын на него очень похож.

Иван повел свою машину во главе всей маленькой автоколонны. С Иваном в машине были Тимофей Васильевич, Леня Башмаков и полковник Гончаренко на этот раз не в франтовской военной форме, а в затрапезном, вероятно, отцовском костюме, старой шляпе и длинных, выше колен, охотничьих сапогах. На других машинах ехали их владельцы - инженер Коломейцев, инженер Лапин и горновой Синичкин, каждый со своими приятелями. Женщин не было, считалось, что рыбалка - дело сугубо мужское, даже более того - долгожданный отдых мужчин от женского общества. Почтенные отцы семейств чувствовали себя здесь, как школьники, убежавшие с занятий, и были склонны сильно преувеличивать свои домашние тяготы и недостатки женского характера - для полноты ощущений.

Вскоре машины очутились в степи, на не очень четкой степной дороге, созданной скорее соизволением самих шоферов, чем заботами дорожников. Довольно пустынная, однообразная, волнистая равнина семимильным шагом шла навстречу и, далеко обходя машины, лениво ползла будто не назад, а вперед. Единственная достопримечательность по пути, на которую обратил внимание Тимофея Васильевича Леня Башмаков, был заброшенный золотой прииск несколько покосившихся деревянных построек. Тимофей Васильевич, человек, всю жизнь проживший в Европейской России, где о натуральном золоте, добываемом прямо из земли или со дна реки, ходили только легенды, закидал Леню вопросами о том, почему прииск покинут и не осталось ли там золота, и все оглядывался на старые постройки, покачивая головой.

Леня Башмаков хорошо знал и любил здешние места и, несмотря на однообразие ландшафта, ухитрялся рассказывать о них разные истории. Въехали в деревню, и Леня сказал, что ее название Требия, а названа она по имени итальянской реки, где полтора века

назад Суворов разбил генерала Макдональда. ("Впоследствии наполеоновского маршала и герцога Тарентского", - бросил Леня с важностью в сторону полковника Гончаренко.) Вообще местность здесь изобиловала иностранными наименованиями; тут были неподалеку деревня Париж, поселок Фер-Шампенуаз, села Наварин, Балканы так сохранялась память о победах русских войск, среди которых отличились и уральские казаки.

Но вот машины выехали на гребень небольшой возвышенности. Справа внизу, среди зарослей, вдруг показалась извилистая светлая лента реки. Машины долго колесили вдоль ее берегов и наконец остановились у тихого заливчика. Рыболовы стали устраиваться: они были сдержанно взволнованны и то и дело вопросительно и жадно поглядывали на загадочно-безмолвное зеркало реки. Работали споро и ловко, видно было, что все давно продумано и рассчитано: одни разбивали палатки, другие выгружали сети и прочий инвентарь, третьи принялись налаживать разборную лодку, окрашенную в красный лак, как трамвай; это была сложная и кропотливая работа, но вскоре лодка заскользила по заливчику, как красная рыбка. В нее уселись Леня Башмаков и Синичкин. Они поставили сети в разных местах. Кто-то накопал червей, кто-то ладил удочки. Коломейцев взял в свою резиновую надувную лодку полковника Гончаренко и отправился с ним ставить сети подальше, в какое-то свое заповедное место. Вернувшись обратно, они вместе с Лапиным начали готовить закуску - разумеется, еще не уху - уха еще была среди коряг, в расселинах дна, терлась еще о водоросли, кружилась в омутах, помахивала хвостами, подрагивала плавниками, - а из домашних продуктов, приготовленных и упакованных теми самыми женами, о которых здесь говорилось с таким высокомерием.

Ивану сегодня не давали участвовать в общих усилиях, забирали у него из рук всякую работу, и он сидел с отцом на берегу, объясняя ему, кто что делает, как гид при знатном иностранце. Пахло тинистой прохладой, и Ивану вспомнилась речка Ворона и большой паром.

Покончив с делами, все собрались вокруг постеленного на траве квадратного брезента; всеми цветами тусклой радуги поблескивали пластмассовые тарелочки и пластмассовые стопки, стояли - чтоб не перепиваться - всего три бутылки водки среди блюд с селедкой, колбаской, жареными котлетами и вареным мясом и множества баночек горчицы. На чистом воздухе, при полном забвении служебных дел и всех забот, кроме как о том, что делается под водой, идет ли рыба в сети, - это был восхитительный обед.

Кое-кто после обеда тут же на траве заснул, и лишь самые завзятые удильщики разошлись с удочками кто куда и сидели вразброс, молчаливые и терпеливые, но в глубине души полные азарта и желания во что бы то ни стало превзойти своих соперников. Тимофею Васильевичу тоже была вручена удочка, и он, обзрев опытным глазом берега, выбрал себе тихую заводь подальше от других и уселся удить. Старик не опозорился: он больше всех наловил окуней, поймал даже одну щучку и язя.

Темнело. Понемногу удильщики вернулись к машинам. Спавшие проснулись. Развели большой костер. Стали чистить картошку. Приближалась "художественная часть", как ее называл Леня Башмаков. Он и Синичкин отправились в красной лодочке проверять ближние сети и вскоре привезли, при общем ликовании, полведра трепещущей рыбы. Тут же взялись за приготовление "большой ухи": стали чистить рыбу живьем, резать ее, еще бьющуюся в руках, окровавленными ножами, кидать в ведро кипящей воды вместе с целыми луковицами и ломтиками картофеля, снимать ложками накипь с поверхности будущей ухи; и при этом все были очень озабочены и горды и говорили, что дома такую уху разве сварить, и что без женщин оно как-то вкуснее, и недаром, дескать, лучшие повара - мужчины, и что стряпня вовсе не такая уж маята, как это любят изображать жены. И хотя все в глубине души прекрасно знали, что все эти разговоры - одна мнимость, но уж таков на рыбалке хороший тон.

Когда рыба закипела в котле среди луковиц и картофеля, Коломейцев, Башмаков и Лапин

направились к машинам и вернулись оттуда с черным перцем и лавровым листом в больших конвертах. Взглянув на их торжественные, благоговейные лица, историк мог бы наконец понять, почему человечество так жаждало пряностей, что в погоне за ними даже открыло Америку.

Поели уху, выпив на этот раз изрядно. И вот на небо вышла юная луна, и заливчик засеребрился, и в кустарнике на его берегах зашумел ветерок. А степь лежала широкая и бесконечная; машины и люди вокруг костра отбрасывали на нее причудливые мятущиеся тени. Лягушки квакали невдалеке.

Поздно ночью, когда не спали только самые неугомонные, далеко в степи показались два светящихся глаза, и вскоре к лагерю рыболовов приблизилась еще одна машина, грузовая. Она остановилась неподалеку, и ее фары тотчас же погасли. Послышались неторопливые мягкие шаги по траве. Вскоре в светлый круг вошли трое мужчин. Вглядевшись в них, рыболовы огласили берег веселыми криками: это тоже были заядлые любители рыбной ловли - директор совхоза Канунников, зоотехник и директорский шофер.

- Давненько вас не было видно, - проговорил Канунников, грея руки над костром.

- Да все некогда, - стал оправдываться Иван. - План выполнять надо. Месяц кончается. Сегодня выбрались на рыбалку - и то только в честь моего гостя. Отец приехал... Не виделись давно, четверть века с гаком... Он у меня записной рыболов. Теперь спит в палатке, умаялся.

Вновь прибывшие стали поздравлять Ивана. Он застенчиво их благодарил.

Тимофей Васильевич, впрочем, не спал. Он слушал весь разговор с удовольствием. То, что директор совхоза запросто, даже просительно разговаривает с Иваном, потешило родовую гордость старика и несколько удивило его. Директор жаловался Ивану на неполадки и умолял помочь слесарями для ремонта инвентаря.

Иван по поручению парткома занимался шефской работой, а доменный цех как раз шефствовал над целинным совхозом, где директором был Канунников. Но старик не разбирался в этих взаимоотношениях; он пристально и уважительно смотрел через отверстие палатки на серьезное лицо своего сына, освещенное от костра золотистым светом, точно как там, на домне, и бормотал:

- Иванушка-то! Вот тебе и Иванушка-дурачок!..

Он не преминул вылезти из палатки - немного погреться в лучах славы и в тепле костра. При директоре он назвал сына Иваном Тимофеевичем, и в дальнейшем уже иначе его не называл, чем повергал Ивана в смущение и беспокойство.

Весь следующий день ловили рыбу, слонялись по берегу, закусывали, лениво рассказывали бывальщину и небывальщину. Нежаркие солнечные лучи, дрожащие светлые нити на воде, путаница длинных степных трав, непрерывно дпящийся пересвист птиц и перезвон насекомых - все это словно бы сплело вокруг людей легкую и тихую сеть блаженного ничегонеделания. Из нее не так просто было выпутаться, и требовалось некоторое усилие воли для того, чтобы на исходе дня приступить к сборам, укладке, одеванию, вернуться к стремительным мыслям обыденной жизни.

На дорожку закусили. Снова произносились тосты за Тимофея Васильевича. Хитрец Канунников, который был крайне заинтересован в том, чтобы задобрить Ивана и получить необходимую помощь от доменного цеха, заметив любовь к отцу, так и светившуюся в глазах у знатного доменщика, не жалел похвал и шумных излияний. Впрочем, он и сам расчувствовался; видя чистую и трогательную сыновнюю любовь, он вспомнил своих

родителей, очень старых, живших на окраине Симферополя в маленьком домишке, и решил сегодня же им написать. Он редко им писал.

Живая рыба билась в ведрах и корзинах. Ее разделили между всеми поровну. Синичкин, с утра крепко выпивший, вдруг стал бить себя в грудь и кричать, что он и в детстве был беспризорный, и теперь нет у него дома, и не для кого ему возить рыбу, и пусть его долю заберут к чертовой матери: от него недавно ушла жена, и при дележе рыбы беда эта показалась ему особенно нестерпимой. Он стал обнимать Тимофея Васильевича, называл его папашей и жаловался ему на окаянную жизнь, считая, вероятно, что выдавший виды седой человек поймет его лучше, чем другие.

Синичкина успокоили, вместо него за руль его автомобиля сел полковник, и машины помчались в обратный путь по еле намеченным степным дорогам.

Решили выбрать другой маршрут, чтобы проводить Канунникова до совхоза. Степь сменилась бледно-зелеными березовыми рощами, стоявшими в пленительном беспорядке. После гладких однообразных пространств эти зеленые рожицы радовали душу, и голубое небо над ними было как будто светлее и яснее, чем над изжелта-коричневой степью.

Совхоз был совсем новый. Оштукатуренные белые домики, такие же белые продолговатые и круглые хозяйственные постройки - все это было ослепительно. Новыми казались тут и коровы и овцы. Тут еще не было ни собак, ни кошек. И люди были все молодые. Может быть, по этой последней причине прохожие, юноши и девушки в новых ватничках, с таким интересом поглядывали на Тимофея Васильевича, когда он проходил по улице поселка в своем сером миткалевом костюме, все время держась рядом с директором...

В Магнитогорск приехали поздно вечером. Все, кроме водителей, сладко спали, так что даже не пришлось прощаться. Сонного Тимофея Васильевича Иван уложил одетого в постель, только сапоги с него снял. Леня Башмаков остался досыпать у Ивана - ему постелили в столовой. Ермолаевскую долю улова кинули в большой таз, долю Лени Башмакова - в ведро.

Иван улегся рядом с женой и шепотом, чтобы никого не разбудить, долго рассказывал ей о рыбалке, симпатичном Канунникове и новом совхозе и перечислял всех пойманных рыб по породам и приблизительному весу.

У супругов зашла речь о предстоящем отъезде Тимофея Васильевича и в связи с этим о подарках ему и его домашним. Понимая, что Ивану хочется "не ударить лицом в грязь", Любовь Игнатьевна, как умная и хитрая жена, знающая, как сохранить мир и согласие в семье, сама взяла в руки инициативу и предложила купить и послать мачехе Ивана скатерть, отрез шерсти на пальто и шкурку на воротник, сестре - летнее платье и материал на зимнее, детям Тимофея Васильевича от второго брака - их было трое ботинки, брюки и опять же платье, и еще какому-то дяде и двум теткам, чаще других упоминавшимся стариком, - сапоги и по платку.

Самому Тимофею Васильевичу следовало преподнести особенно ценный подарок, и Иван с Любовью Игнатьевной долго толковали на этот счет; Любовь Игнатьевна боялась назвать предмет слишком дешевый, чтобы не задеть сыновние чувства Ивана и не прослыть скупой и недоброй к мужниной родне; в то же время она не хотела уж чересчур раскошелиться - и так придется признаться тысячи полторы у Ульяновых на подарки и другие расходы - своих сбережений могло не хватить. И она, покосившись на задумчивый профиль мужа, воскликнула с удалством в голосе, но и не без надежды, что сам муж воспротивится ее предложению:

- Давай-ка мы твой новый костюм ему отдадим?! Ничего!.. Живы будем справим другой!

Ивану новый костюм очень нравился, и такой легкий отказ жены от этого костюма покорибил

его; он не совсем безосновательно предположил, что она так легко отдает костюм потому, что на вечере Иван в нем явно пришелся по вкусу Екатерине Степановне Ульяновой: Любовь Игнатьевна немного ревновала его к своей любвеобильной приятельнице. Но ничего не скажешь, подарок был отличный, костюм и старику очень по к а з а л с я, и к тому же такой подарок вроде не стоил денег - за него было уплачено хотя и много, но давно.

- Ладно, Люба, молодец, Люба, - сказал Иван умиротворенно и погладил ее по пышному белому плечу, а она, обрадовавшись этой ласке и польщенная его похвалой, в душе окончательно склонилась перед необходимостью отказа от новых зимних пальто Марине и Мите.

Иван с женой уснули блаженным сном, довольные друг другом.

Утром Иван пошел на завод, а Тимофей Васильевич, проснувшись, с похмелья пил огуречный рассол, принесенный ему сердобольной Дарьей Алексеевной. Он спросил ее, где здесь церковь и не собирается ли она к заутрене - сегодня вознесение, сорок дней после пасхи. Дарья Алексеевна, сдержанно улыбнувшись, ответила, что ее покойный муж, работавший литейщиком в Златоустовском заводе, был старый безбожник, в бога не верил и ей наказал, так что она уже лет тридцать как не ходит в церковь.

Все же она проводила Тимофея Васильевича к трамваю, усадила его и растолковала, как ехать в церковь через весь город.

Пока он ездил, все было сделано: деньги одолжены, покупки произведены, билет на указанный им день куплен.

Прощальная вечеринка, объявленная в свой срок, прошла так же весело и шумно, как и встреча. Наутро после проводов старику были вручены подарки.

Старик как будто не очень удивился, только притих, глаза у него стали маленькие-маленькие, он медленно, будто недоверчиво, брал каждую вещь и, выслушав, кому она предназначалась, задумывался на мгновение, оценивая достоинства человека и предназначаемой ему вещи. И только когда все подарки были сложены, старик вдруг поглядел исподлобья на сына и спросил:

- Ты, Ваня, того... сколько жалованья получаешь?..

Иван возразил, гордый и растроганный:

- Ничего, батя!.. Не беспокойся... Хватает, хватает, батя!

А Любовь Игнатьевна, давая старику денег на дорогу, тоже расчувствовалась и, вздохнув, сказала ему ласково, хотя и с некоторым надрывом:

- И по двести рублей будем вам высылать...

Старик при этом смотрел в сторону и быстро-быстро моргал глазами, и было непонятно: то ли он собирался заплакать, то ли думает о чем-то своем. И весь вид у него был какой-то странный: не то петушистый, не то жалкий.

И вот однажды утром дети, проснувшись, не застали дедушку. Он уехал ночью, когда они спали. Зато у них появилась еще одна забава: они надумали играть "в дедушку", и эта игра стала одной из самых любимых. Дедушку изображала обычно Вера; она приклеивала к подбородку обрывок старой папиной шапки серого меха, сидела серьезная и отрешенная на стуле с рюмкой в руке, а остальные дети чокались с ней рюмками и стаканами и говорили тосты; Федя же, изображавший полковника, - он нашил себе на плечи бумажные красные погоны, - говорил речь и кричал "ура", и потом "дедушка" деловито получал подарки, быстро



прятал их в чемодан, спрашивал, кто сколько жалованья получает, и обещал писать письма. Соседские дети тоже жаждали участвовать в этой игре, но по врожденному, что ли, чувству справедливости самостоятельно не смели в нее играть, а обязательно приходили к ермолаевским детям, законным внукам бабушки, истово чокались с Верой и кричали "ура".

Все знакомые при встрече с Иваном обязательно спрашивали, как старик доехал, и что он пишет, и как понравился ему Магнитогорск и завод. А Иван, конфузясь (так как от старика не пришло ни одного словечка), отвечал всем, что отец доехал благополучно.

Весточку от Тимофея Васильевича Иван получил только месяца через полтора и весьма неожиданным путем. В доменный цех как-то днем позвонили из нарсуда и велели передать ему, чтобы он зашел к судье Коломейцевой. Он удивился, но, разумеется, пошел и был неприятно поражен злым видом Лидии Ивановны, обращением к нему на "вы" и сухостью ее тона. Глядя на него бьющим прямо по переносью пристальным взглядом суровых глаз, которые он до сих пор знал лишь веселыми или насмешливыми, она спросила без предисловий:

- Деньги родителям посылаете?

Иван вздрогнул от неожиданности.

- Да, - сказал он, густо покраснев под ее взглядом и весь сжавшись от предчувствия какой-то неизвестной беды. - Да... А что? Конечно, посылаю... Не родителям - отцу, у меня матери нет. Из каждой второй полочки посылаю. Только в последний раз не посылал: я ведь ему дал на дорогу.

Расспросив его и при этом свирепо придираясь к каждому слову, она наконец вздохнула с явным облегчением, и ее взгляд стал легким.

- Так я и думала, - сказала она и положила ему на плечо тяжелую и ласковую руку. - Квитанции сохраняешь?

- Квитанции? Не знаю... Наверяд ли...

- Так я и думала, - повторила она, покачав головой. - Вот прибыл иск от твоего отца. Жалуется он на тебя: мол, член партии, депутат, домовладелец, богач, а алиментов не платишь. Оставил, мол, родных на произвол судьбы - родителей, братьев и сестер, из коих два несовершеннолетних и одна хромая-калека.

Иван не пытался объясняться. В нем будто что-то оборвалось. Он втянул голову в плечи, на минуту почувствовав себя несчастным и беззащитным крестьянским мальчиком стародавних времен. Она же глядела в сторону и рассуждала вслух:

- Ну, факт твоих переводов мы, положим, с помощью почты сможем установить в любое время, не в этом суть... Одна я не решаю, у меня заседатели, все выяснится в судебном заседании, но думаю, что присудим мы ему с тебя, ввиду твоей многодетности рублей пятьдесят в месяц. Вполне достаточно. Он имеет корову, овец, откармливает свинью, да еще валенки валяет... Сам же он мне и рассказывал. Пятьдесят рублей будешь ему платить.

В этот момент она посмотрела на Ивана и осеклась, потрясенная выражением его лица.

- Разве в этом дело? - проговорил он, махнув рукой.

- Да. Конечно. Понимаю, - сказала она мягко и как бы виновато.

- Может, они так это?.. Не подумавши? По темноте своей?.. А? продолжал он, глядя на Лидию Ивановну вопросительно, почти умоляюще. Может, им живется трудно? А?..

Выйдя из помещения суда, Иван с ужасом подумал о том, что надо идти домой; он не мог сейчас видеть жену и Дарью Алексеевну и даже детей, которые, может быть, за стеной играли в "дедушку". И он решил пойти в пивную, выпить там грамм триста русской горькой, чтобы не было так стыдно. Но когда он подошел к реке, перед его глазами возникла привычная, но всегда ошеломляющая своим величием картина вечно работающего завода. В сгустившихся сумерках разноцветные снопы пламени всевозможнейших оттенков красного и оранжевого и ослепительные вспышки белого огня то тут, то там прорезали мир неподвижных вещей стремительно и дерзко. В этом мире огромном теле, включающем в себя темные горы, тускло освещенные дома, тяжелые воды реки и небо с длинными тучами, чуть освещенными невидимым закатом, - завод с его непрерывным тяжким постуком был вечно бьющимся сердцем, почти таким же сложным и таинственным, как человеческое сердце. Иван жестко усмехнулся и пробормотал с любовью, хотя и не без горечи:

- Вот она, Магнитка! Она - твоя деревня, твой родной дом, твой отец, твоя мать...

1959 - 1960